

ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ

## "ЖИЗНЬ ПО ЗАВОДСКОМУ ГУДКУ"

1

Мне посчастливилось родиться, вырасти, получить трудовую закалку в рабочей семье, в большом рабочем поселке. Одно из самых ранних, самых сильных впечатлений детства — заводской гудок. Помню: заря только занимается, а отец уже в спецовке, мать провожает его у порога. Ревет басовитый гудок, который, казалось мне, слышен по всей земле.

Радио не было, часов рабочие не имели, завод сам созывал их на работу. Первый предупредительный гудок давался в полшестого утра, затем в шесть — на смену, потом в полшестого вечера — предупредительный и опять на работу — в шесть. Народу в нашем Каменском, будущем рабочем городе Днепродзержинске, было тогда двадцать пять тысяч, и весь отсчет времени, весь бытовой уклад, привычки, нравы, сам труд людей — словом, вся жизнь шла по гудку.

Я быстро одевался и босиком, не поев, бежал вслед за отцом. Если он брал меня за руку, я гордо оглядывался вокруг: вот, дескать, какой вырос большой, уже иду на завод, а мне тогда шел пятый год. Из соседних домов, из боковых улочек и переулков выходили другие рабочие, нас становилось все больше, одеты были почти все в потертые куртки и штаны из грубой «китайки». И мне, помню, очень нравилось шагать вместе со всеми.

Тысячная толпа валила вниз, к Днепру, к Базарному спуску. Тут отец оставлял меня, и вскоре его картуз терялся среди множества картузов, кепок, войлочных шапок — я только издали видел, как втягивала смену черная дыра проходной. А лет, наверное, семи я и сам первый раз вошел в эти ворота — с судками в руках, в которых нес обед для отца.

Завод работал в две смены, каждая по двенадцать часов, а бывали дни (при ломке смен), когда рабочие и по восемнадцать часов оставались на производстве. Столовой не было, обеденного перерыва не полагалось — наскоро перекусывали тем, что брали с собой из дома. Некоторым еду в узелках приносили жены, дочери, сестры. Позже я узнал: отец и мать мои встретились не на гулянье, не в городском саду, не в гостях и не в клубе, которого, впрочем, в их пору и быть не могло, а здесь же, в железопрокатном цехе Днепровского завода.

Отец был помощником вальцовщика, а сварщиком на нагревательных печах стоял старый рабочий Денис Мазалов. Я его хорошо помню: кряжистый, немногословный, настоящий русский мастеровой. Родом он был из Енакиева, работал прежде в Никополе, на наш завод перебрался уже с большой семьей, и обед ему часто приносила взрослая дочь Наталия. Вот здесь-то, у нагревательных печей, у стана «280», молодые люди и познакомились, а год спустя поженились. Отцу было тогда двадцать восемь лет, матери — двадцать.

Что можно еще сказать о своем происхождении? Родословных рабочие семьи, как известно, не вели. Знаю, что отец, Илья Яковлевич Брежнев, поступил на завод в 1900 году. Он пришел сюда из Курской губернии, из деревни Брежнево Стрелецкого уезда. Название деревни, как и фамилия наша, происходило, надо полагать, от прибрежного ее положения, а возможно, и от понятий «беречь», «оберегать», что вполне согласуется с крестьянским бережным отношением к земле-кормилице. Землю ценили, защищали, берегли, веками поливали ее и потом и кровью. Но веками же бедность не покидала людей, иначе не пришлось бы отцу уходить на заработки из родных мест.

Между прочим, впоследствии жил с нами в одной квартире дядя Аркадий, по фамилии тоже Брежнев, но отцу он братом не приходился, а был земляком. Приехал, как все, на заработки, отец пустил его к себе, он вышел в металлурги и уже после этого, женившись на младшей сестре моей матери, стал нам родней, а мне дядей. По-видимому, как это повелось в русских селеньях, однофамильцев в нашей деревне было немало.

Таким образом, по национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург. Вот и все, что известно о моей родословной.

Уместно в связи с этим вспомнить родословную рабочего класса России. Бурный его рост начался как раз на рубеже XIX—XX веков, что и вызвало перемещения огромных масс народа, крутые перемены в жизни миллионов людей. Судьба каждого из них в отдельности могла показаться случайной, но общая их судьба была исторически обусловлена, можно сказать, предрешена промышленной революцией, которая совершалась в стране. И совсем не случай привел моих родителей именно на Екатеринославщину (в нынешнюю Днепропетровскую область), заставил обосноваться именно на юге России.

В этом краю счастливо соседствовали уголь Донбасса руда Криворожья, железная дорога связала их, водная магистраль Днепра позволяла отправлять готовый металл машиностроителям Бежицы, Брянска. Все это, вместе взятое, а также неограниченные возможности привлечения дешевой рабочей силы тянули сюда не только российских предпринимателей, но и иностранных капиталистов. Днепропетровский завод, например, объединял бельгийский, польский и французский капитал («копитал», говорили у нас в слободке, имея в виду слово «копоть»). Завод рос чрезвычайно быстро: с 1887 по 1896 год население в Каменском увеличилось с 2000 душ до 18 000.

Эти цифры приведены в книге В. И. Ленина «Развитие капитализма в России». «То, что прежде складывалось веками,— писал он, — осуществляется теперь в какой-нибудь десяток лет». Много позже, будучи студентом, я читал этот классический труд и обратил внимание на то, с какой тщательностью и глубиной Владимир Ильич исследовал рост металлургии Юга. Для меня, помнится, было очень важно, что великий вождь мирового пролетариата, анализируя общественно-экономическое развитие всей страны, окидывая взором всю Россию, видел и наш край, в том числе бывшее село Каменское, изучил его прошлое, знал настоящее, предвидел будущее.

В 80-х годах прошлого века по технической оснащенности первыми шли Санкт-Петербургская губерния, Московская, Киевская, Пермская, Владимирская, но уже в 90-х годах после столичной, оттеснив старые промышленные центры, шла Екатеринбургская губерния. На Урале «число паровых сил» за десять лет возросло в два с половиной раза, а на Юге за то же время — почти в шестеро. При этом южные заводы в отличие от уральских, использовали уже не древесный, а каменный уголь, чугун выплавляли уже не на холодном дутье и в выделке железа отбросили древний, так называемый кричной способ.

«Насколько Урал стар, — делал вывод В. И. Ленин,— и господствующие на Урале порядки «освящены веками», настолько Юг молод и находится в периоде формирования. Чисто капиталистическая промышленность, выросшая здесь в последние десятилетия, не знает ни традиций, ни сословности, ни национальности, ни замкнутости определенного населения».

Все это, повторяю, я прочел и осмыслил позже, в студенческие годы. Но то, о чем писал Ленин, я видел и запомнил еще с детских лет. Многоязычный говор, толпы испуганных мужиков, стекавших к нам из разных губерний, бараки, сколоченные на скорую руку, и строительство домен, мартенов, мощных прокатных станов — помню все это до мелких подробностей. Завод, в ту пору самый крупный на Юге, возвышался над поселком. Все у нас тяготело к нему, и я, как и другие сыновья рабочих, знал, что вслед за отцом приду в цех, к живому огню. Об иной доле в поселке не помышляли. Завод громко гудел, напоминая о себе, и я знал: это моя судьба.

По тому времени завод считался хорошо оснащенным, но, разумеется, ни рольгангов, ни подъемных столов в цехе не было. Вагоны разгружались лопатами, уголь в топки тоже кидали лопатами, понурая лошадь возила черные слитки к нагревательным печам, у которых орудовал мой дед Денис. Отсюда раскаленные добела «штуки» весом в полтонны крючьями волокли к стану, потом вручную перетаскивали с одного калибра на другой, а из последней клетки, ухватив щипцами еще горячую, но уже раскатанную, тонкую ленту, бегом тянули ее на плитовой наст, где металл должен был остывать.

Снова и снова замирал на своем месте (у нас говорили: «в петле») высокого роста, плечистый, в фартуке и чунях рабочий. Я хорошо видел: он весь в напряжении, клещи в любой момент наготове. Едва лишь вырвется из клетки раскаленная, шипящая, злая змея, как он тотчас ее усмирит и широким взмахом перебросит, «задаст» в другие валки. Сказочным силачом, великаном представлялся мне в тот момент человек. А это был мой отец.

Заметив меня, отец звал дядю Аркадия, или нашего соседа Луку, или еще кого-то из рабочих, чтобы подменили его, ополаскивал руки, лицо, выходил наружу, щурился на солнце и садился на чухлю траву обедать. Ел он молча. Иногда гладил шершавой рукой мою голову, спрашивал, что дома, как мать. Кончался обед всегда одинаково, отец говорил: «Иди гуляй». И я, не понимая, какой адов труд снова ему предстоит, бежал со своими друзьями к дымящим трубам, за которыми кончался завод.

За краем построек рос краснотал, и в этих зарослях мы пробирались к Днепру. Берег в том месте был очень высок и обрывист. Мы смотрели сверху, и даль перед нами открывалась неоглядная. Внизу голубела вода, виднелся зеленый остров, поросший кустарником, дальше все было подернуто синевой: вода, луга, заречные села Николаевка и Куриловка — для нас это уже был край света.

Детство есть детство. Тут, у Днепра, все для нас было радостью: сбегали вниз по обрыву, купались, переплывали на остров. Но только не весной. В разлив вода скрывала островные деревья, дальний берег едва был виден. Сейчас, вспоминая Гоголя — «редкая птица долетит до середины Днепра...», — я думаю, этот образ реки возник у него из памяти детства.

Память о детстве всегда приятна, но хотелось бы избежать ошибки, в которую нередко впадают авторы воспоминаний: прошедшее им рисуется в розовом свете хотя бы потому, что сами они тогда были молоды.

2

Наша семья жила в рабочей слободке, которая называлась «Нижняя колония», в Аксеновском переулке. Здесь я и родился 19 декабря 1906 года. Все в той же комнате явились на свет мои брат Яков и сестра Вера.

Забота о духовных потребностях жителей исчерпывалась тем, что в поселке Каменском были две православные церкви, католический костел, лютеранская кирха и еврейская синагога. Прочие «очаги культуры» начинались прямо у заводской проходной: трактир Стригулина, трактир Смирнова и еще бесчисленное количество трактиров, казенных винных лавок.

А к юго-западу от поселка, в «Верхней колонии», был совсем иной мир: стояли двухэтажные, просторные, благоустроенные дома администрации завода. Даже дым, извергавшийся из многочисленных труб — высоких и низких, круглых и восьмигранных, — отворачивал от них в сторону, тянулся почти всегда к рабочей слободе. Потом-то я понял, что тут учтена была роза ветров Приднепровья. По этой причине дымным было небо моего детства, слой копоти покрывал наши дома.

Рабочим на территорию «Верхней колонии» вход был строго-настрого запрещен. Там светился по вечерам электрический свет, туда подкатывали пролетки на дутых шинах, из них выходили важные дамы и господа. Это была как бы другая порода людей — сытая, холеная, высокомерная. Инженер, в форменной фуражке, в пальто с бархатным воротником, никогда бы не подал руки рабочему, а тот, подходя к инженеру или мастеру, обязан был снимать шапку. Мы, дети рабочих, лишь издали, из-за решетки городского сада, могли смотреть на фланирующую под духовой оркестр «чистую публику».

Чтобы хорошо понимать и ценить нынешнее, человек должен в истинном свете видеть минувшее.

«Такие каторжные условия, как на Каменском заводе, вряд ли где встретишь, — свидетельствует одна из большевистских листовок, распространявшихся в нашем поселке. — Где это видано, чтобы работа продолжалась целый год без всяких праздничных дней и чтобы приходилось работать по двенадцать часов подряд, а иногда и по восемнадцать, не имея перерыва на завтрак и на обед? Где это слышано, чтобы с рабочих вычитали на ремонт зданий, на поправку машин и инструментов? Нашим кровопийцам, видно, мало тех барышей, которые они получают от нашего труда, и они, придираясь к каждому случаю, штрафуют нас... Вечно работая, вечно в грязи живем мы затем, чтобы кошелек хозяев был полон, а наши желудки пусты».

Революционная история рабочих юга России известна. Напомню, что первые социал-демократические кружки появились здесь еще в 1885 году. Был такой кружок и в Каменском, куда впоследствии регулярно доставлялась ленинская «Искра». В разные годы по заданию В. И. Ленина в этом краю вели активную работу такие его ученики и соратники, как И. Х. Лалаянц, В. П. Ногин, В. А. Шелгунов, М. Г. Цхакая, Р. С. Землячка, В. В. Воровский, П. Н. Лепешинский, Г. К. Орджоникидзе. Но особо хотелось бы сказать о трех большевиках из плеяды первых рабочих, ставших сознательно на путь революционной борьбы.

Екатеринославский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» организовал в 1897 году Иван Васильевич Бабушкин. В. И. Ленин, как известно, называл его гордостью партии, народным героем. «Без таких людей, — писал Ленин, — русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации».

В кружке Бабушкина приобщился к революционному движению Григорий Иванович Петровский. Имя этого рабочего-революционера, впоследствии видного деятеля нашей партии, присвоено заводу, на котором он работал токарем. В память о его заслугах и город Екатеринослав был переименован в Днепропетровск.

Никифор Ефремович Вилонов — третий из тех, о ком хотелось вспомнить; он менее других известен. Между тем это тоже был герой и мученик освободительной борьбы. Летом 1903 года, когда стачечная волна охватила весь юг России, он стал в Екатеринославе членом искровского комитета РСДРП. Принял партийную кличку Михаил Заводской, да и был человек заводской, квалифицированный слесарь, истинный рабочий по духу.

Когда в эти места пришла весть о расколе, происшедшем на II съезде РСДРП, Вилонов сразу причислил себя к большевикам. Он написал большое письмо В. И. Ленину, но ответа не получил, потому что вскоре был арестован и сослан в Сибирь. А Владимир Ильич ему ответил, и эти письма встретились десятилетия спустя в архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. На

ленинском ответе сохранилась приписка, сделанная рукою Н. К. Крупской: «Мише Заводскому послано 22/XII».

Больше того, основатель нашей партии полностью поместил мнение «одного заводского рабочего города — ва» в своей брошюре «Письмо к товарищу о наших организационных задачах». А встретились они с Вилоновым лишь через шесть лет, в Париже, и, когда Крупская заметила, то из Екатеринослава им писал когда-то интересные письма Миша Заводской, Вилонов улыбнулся: «Так это я и есть». Тут только выяснилось.

Вилонов прошел обычный путь революционера — аресты, одиночки, тюрьмы, побег, новые аресты, ссылки. Жандармы бросали его в сырые карцеры, отбили ему легкие, довели до ранней чахотки. И все равно он вырос водного из видных организаторов и пропагандистов партии, а в революцию 1905 года был в Самаре председателем Совета рабочих депутатов. Ему исполнилось в ту пору всего двадцать два года.

Уже смертельно больной попал он в эмиграцию, жил на Капри, оказался в самом центре фракционной борьбы. Время было тяжелое. Наступили годы реакции, начался идейный разброд, появились «отзовисты», «богостроители», «эмпириомонисты» и проч. Рабочему-революционеру непросто было разобраться во всем этом, но он безошибочно сделал свой выбор — пошел за Лениным. Известно письмо Владимира Ильича А. М. Горькому, где, рассказав о долгой беседе с Михаилом Заводским, он выражает глубокую веру, что рабочий класс выкует свою партию — «выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам. Такие люди, как Михаил, тому порукой».

Да, такие люди, как Бабушкин, Петровский, Вилонов и тысячи других, были тому порукой. И я пишу об этих беззаветных борцах, чтобы стало еще яснее, почему рабочий класс России шел всегда за В. И. Лениным, за большевиками, за великой партией коммунистов. В революции 1905 года рабочие-днепровцы принимали уже самое активное участие. Вслед за Советами рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске, Петербурге, Москве, Киеве, Екатеринославе, Луганске и других крупных городах создан был Совет и в поселке Каменском. Тон в нем с самого начала задавали большевики, и председателем был избран большевик И. М. Беседов, заводской электрик. Впоследствии мне приходилось с ним встречаться: после гражданской войны он был у нас председателем городского Совета, а затем директором завода.

Борьба продолжалась и после поражения первой русской революции. Несмотря на массовые аресты, несмотря на идейные шатания, меньшевики и эсеры сильных позиций здесь никогда не имели. Борьба ширилась, работали подпольные кружки, были стачки, проводились маевки. Например, 4 июля 1912 года «Правда» писала: «Вчера на Каменском заводе полиция арестовала 22 человека по обвинению в попытке устроить политический митинг». В одном из следующих номеров газеты сообщалось уже, что «на Каменском заводе арестовано 32 рабочих». Но боевой дух рабочего класса нельзя было сломить.

«Только подняв всеобщее вооруженное восстание от края и до края, — призывала листовка, ходившая на нашем заводе в 1916 году, — только разрушив окончательно дряхлую деспотию Николая II и учредив на ее развалинах демократическую республику, мы сможем предохранить себя от повторения ужасов человеческой бойни... Пусть наша борьба будет единой, всеобщей, ибо в единении — сила!»

Конечно, в те годы я этих листовок не читал, на маевки нас, мальчишек, не брали, да и вообще далеко не все было нам доступно и ясно. Но в этой атмосфере я рос, думы и чаяния рабочих были мне изначально близки, я приобщался к ним, слушая разговоры взрослых, видя их в трудные дни забастовок. Могу сказать, что с детских лет мне открылись лучшие черты рабочего человека.

Он великий труженик, ему присуще неиссякаемое терпение, он знает свое дело и привык делать его хорошо. Даже в царское время, даже в условиях эксплуатации ему претила плохая работа, ибо всегда он ценил мастерство и уважал свой труд. Почти все богатства, накопленные человечеством, созданы его мускулистыми руками, но сам он не привязан к собственности, душа его не убита корыстным расчетом, а живы в ней широта, удаль и вечная тяга к справедливости. Он находчив, смекалист, наделен живым умом и мором. Он решителен, смел, верен дружбе, готов в любой момент прийти на помощь товарищам. Заводской гудок всех разом звал на смену, он же и сплывал рабочих, возникало высокое чувство единения, общности интересов, той пролетарской солидарности, которая миллионы людей, разных по возрасту, опыту, обычаям, национальности, делала могущественным, монолитным, подлинно революционным классом.

К этому классу я принадлежал по рождению, в этой среде был воспитан, с нею связан, можно сказать, кровными узами. Мой отец до конца дней оставался рабочим. Рабочими были мой дед, братья матери — мои дядья, и сам я, когда пришел срок, поступил на завод, а за мной следом брат,

сестра, муж сестры... Семья Брежневых многие десятилетия своей жизни отдала родному заводу, нашу фамилию вы и сегодня найдете в заводских списках.

3

Скажу подробнее о семье, потому что именно тут лежат истоки характера человека, его отношения к жизни. Мои родители испытали на себе всю тяжесть царского гнета, жили большую часть жизни трудно, но дома у нас всегда царил согласие. Возможно, не обходилось и без каких-нибудь трений, но мы, дети, этого не ощущали, даже повышенных голосов нам слышать не пришлось.

Отец был человек сдержанный, строгий, нас он не баловал, но, сколько я помню, и не наказывал никогда. По-видимому, в том не было нужды: росли мы в духе уважения к родителям. Ростом отец был высок, худощав и, как большинство прокатчиков, физически очень силен. Черты лица имел тонкие, у него были хорошие, внимательные глаза. Он всегда следил за собой, дома был чисто выбрит, подтянут, любил аккуратность во всем. И эти его привычки, видимо, передались и нам. Ему в высшей степени было свойственно чувство собственного достоинства, он не лукавил, был прямодушен, тверд, и его уважали товарищи. Видеть это нам, его детям, было приятно.

— Если уж ты обещал, то держи слово, — говорил мне отец. — Сомневаешься — говори правду, боишься — не делай, а сделал — не трус. Если уверен в правоте — стой на своем до конца.

Так он и сам поступал, слова у него не расходились с делом.

Народ в поселке Каменском собрался разный. В администрации завода состояли французы, бельгийцы, поляки. Среди рабочих тоже было немало поляков, но больше местных — украинцев и очень много елецких, курских, орловских, калужских мужиков. Отец мой разницы между тружениками не делал, как мы сказали бы теперь, разделял людей не по национальному, а по классовому признаку. И для меня тогда, вспоминаю, сын урядника или купца-богатея, хотя они и русские, был чужим, а дети рабочих, тех же поляков, были свои.

После революции, когда завод перешел на восьмичасовой рабочий день и надо было укомплектовать третью смену, отца назначили фабрикатром. Долгие годы он проработал вальцовщиком, считался мастером своего дела, однако новые обязанности требовали не только опыта, но и солидных знаний. Фабрикатор дает заявки в мартеновский цех, определяет, из каких болванок можно получить заказанные профили, какие выбрать марки стали, как вести термическую обработку, чтобы уменьшить потери тепла, и т. д. По существу, тут требовался уже инженерный расчет, а отец дошел до всего многолетней практикой и природным умом.

В советское время мы переехали на улицу Пелина, в новый заводской дом, где получили двухкомнатную квартиру на первом этаже. Одну из комнат отец уступил семье дяди. Жили мы дружно, весело, часто принимали гостей, пели песни, вели беседы до полуночи, и мать, бывало, никого не отпустит, пока не накормит. Дом стоял у станции Тритузной, тогда это считалось окраиной города, позади был зеленый дворик, цвели акации, утро начиналось с пения птиц.

Отец вышел в ударники, стал в 30-е годы стахановцем, был окружен уважением, детей поставил на ноги, мы все уже работали, помогали семье, тут бы ему только и пожить. Но он вдруг заболел и умер, когда ему не исполнилось шестидесяти лет.

Отец до последних дней жил заводскими заботами. Он всегда проявлял живой интерес ко всему, что происходило в стране, в мире. В моей памяти сохранился один разговор, который я часто вспоминал потом и хотел бы здесь его воспроизвести. В тот день я пришел со смены и начал, как повелось, рассказывать отцу о заводских делах. Но отец думал о чем-то своем. Он перебил меня:

— Скажи, Леня, какая самая высокая гора в мире?

— Эверест.

— А какая у нее высота?

Я опешил: что это он меня экзаменует?

— Точно не помню, — говорю ему. — Что-то около девяти тысяч метров... Зачем тебе?

— А Эйфелева башня?

— По-моему, триста метров.

Отец долго молчал, что-то прикидывая про себя, потом сказал:

— Знаешь, Леня, если б поручили, мы бы сделали повыше. Дали бы прокат. Метров на шестьсот подняли бы башню.

— Зачем, отец?

— А там бы наверху — перекладину. И повесить Гитлера. Чтобы, понимаешь, издали все видели, что будет с теми, кто затевает войну. Ну, может, не один такой на свете Гитлер, может, еще есть кто-нибудь. Так хватило бы места и для других. А? Как ты думаешь?

Весь век — рабочий, и такие мысли в голове. И когда? Еще задолго до войны, до нашей Победы, до Нюрнбергского процесса, пригвоздившего гитлеровских главарей к позорному столбу. Человек не

изучал марксистской теории, но, как говорится, нутром чувствовал великую правоту нашего дела, видел опасность фашизма и очень верно выразил отношение рабочего класса, всех трудящихся к угрозе войны.

Мать моя, Наталия Денисовна, намного пережила отца. И если от него я воспринял, как говорили у нас, упорство, терпение, привычку, взявшись за дело, непременно доводить его до конца, то от нее мне достались в наследство общительность, интерес к людям, умение встречать трудности улыбкой, шуткой. Всю жизнь она работала, растила нас, кормила, обстирывала, выхаживала в дни болезней, и, помня об этом, я навсегда привык уважать тяжелый, невидный, конца не знающий и благородный женский, материнский труд.

Работая впоследствии в Запорожье, Днепропетровске, Молдавии, Казахстане, я пользовался каждым случаем, чтобы повидаться с матерью, всегда относился к ней с глубоким сыновним почтением. Скажу больше: человек, который не любит мать, давшую ему жизнь, выкормившую и воспитавшую его, — такой человек мне лично подозрителен. Не зря говорится в народе — Родина-мать: кто мать способен бросить и забыть, тот и Родине будет плохим сыном.

Я уже работал в Москве, а мать все никак не соглашалась переехать ко мне, жила в том же доме на улице Пелина, все в той же тесной квартирке — с сестрой и ее мужем, дельным инженером, выросшим до начальника цеха на нашем заводе. Позже я узнал — не от родных, они мне об этом не писали — такую историю. Местные власти сочли неудобным, что мать секретаря ЦК КПСС живет в такой квартире, и предложили более просторную, более светлую, со всеми удобствами. К тому времени, надо заметить, в Днепропетровске широко развернулось жилищное строительство. Однако мать, как ни уговаривали ее, отказалась от переезда, продолжала жить в прежнем доме. Ходила в магазин с кошелкой, сердилась, если пытались уступить ей очередь, вела по-прежнему все домашнее хозяйство, очень любила угостить людей. До сих пор вспоминаю ее домашней выделки лапшу: никогда такой вкусной не ел. А вечерами в своей старушечьей кофте, в темном платочке она выходила на улицу, садилась на скамейке у ворот и все говорила о чем-то с соседками.

Находились, как водится, люди, которые знакомство с матерью Брежнева хотели использовать в своих целях, совали ей для передачи «по инстанциям» всякого рода жалобы и заявления. И, должен сказать, я поражаюсь ее уму и такту, высочайшей скромности, с какой держалась она. Мне опять-таки ни разу мать ничего не говорила, а узнавал я стороной, от других. Она считала, что не вправе вмешиваться в мои дела. Знала, как я уважаю ее и люблю, но если помогу кому-то по ее просьбе, скажем, с жильем, то это ведь за счет других, кто не догадался или не смог обратиться к ней. А те, может быть, больше нуждаются в поддержке. Так примерно думала мать, а говорила просто:

— Вот мои две руки.— И поднимала жилистые, изработавшиеся, старые руки.— Чем могу, я всем тебе помогу. Но сыну наказывать, чего ему делать, я не могу. Так что извини, если можешь.

В 1966 году мать переехала ко мне в Москву. Она дождалась правнуков, жила спокойно, в ладу со своей совестью, была окружена любовью всех, кто ее знал, гордилась доверием, которое народ и партия оказали ее первенцу, и для меня великим счастьем было после всех трудов сидеть рядом с мамой, слушать ее родной голос, смотреть в ее добрые, лучистые глаза.

4

Я еще не сказал: не только отец мой знал грамоту, но и мать умела писать и любила читать, что в пору ее молодости в рабочей слободке было редкостью. Лишь повзрослев, я понял, чего стоила родителям их решимость дать нам, детям, настоящее образование. А они хотели этого и добились: девяти лет от роду я был принят в подготовительный класс каменной мужской классической гимназии. Вспоминаю, мать все не верила, что приняла, да и вся улица удивлялась.

Детей рабочих прежде в гимназию вообще не допускали, да и тут не распахнули двери, а только чуть приоткрыли. По-видимому, с одной стороны, это вызывалось потребностями растущего производства, а с другой — сказывалось влияние революционных событий в России. Тем не менее, для нас был устроен особый конкурс, брали самых способных, примерно одного из пятнадцати, и всего-то сыновей рабочих приняли в тот год семерых. Все прочие гимназисты приезжали из «Верхней колонии», принадлежали к среде чиновников, богатого купечества, заводского начальства.

Нас именовали «казенными стипендиатами». Это не значит, что мы получали стипендию, а значит лишь то, что при условии отличных успехов нас освобождали от платы за обучение. Плата же была непомерно велика — 64 рубля золотом. Столько не зарабатывал даже самый квалифицированный рабочий, и, конечно, отец таких денег при всем желании платить бы не мог.

Учился я, как, впрочем, и все мои друзья, хорошо. Во-первых, нравилось узнавать новое, во-вторых, отец строго следил за моими занятиями, а в-третьих, учиться плохо было попросту невозможно — для нас это было бы равносильно исключению из гимназии.

Отношение к нам, сыновьям рабочих, было иное, чем к гимназистам из «Верхней колонии». И нас зло брало и азартное желание доказать, что неправда это, будто мы неспособны к наукам, что не глупее мы сынков из богатых семей, которым многое прощалось.

Любимым нашим учителем был историк Ковалевич. Он прекрасно вел свой предмет, рассказывал не только о царях, но и о Разине, о Пугачеве, от него я узнал впервые о восстании декабристов, услышал имена Чернышевского, Герцена. Он учил нас думать, понимать закономерности развития общества и, как я понял впоследствии, далеко выходил за рамки официальной программы. Конечно, мы не догадывались, что лучший из наших учителей — большевик, подпольщик, и узнали об этом позднее, когда деникинцы расстреляли его. Сейчас в городе Днепродзержинске есть улица Ковалевича. Возможно, не все молодые знают, в чью честь названа она, и я рад, что могу об этом сказать.

Февраль семнадцатого года докатился до Каменского раскатами отдаленного грома. Самодержавие рухнуло.

Однако война продолжалась, очереди за хлебом не уменьшились, на земле по-прежнему сидели помещики, заводами по-прежнему владели фабриканты. И у нас «Верхняя колония» все так же высоко, хоть уже не без страха, взирала на «Нижнюю». Хозяева остались хозяевами, рабочие — рабочими.

Совсем по-иному запомнились, я бы сказал, навеки врезались в мою память великие дни Октября.

Заводской гудок заревел вдруг в неурочный час. Время как бы расколосось, переломилось надвое, начало свой новый отсчет. Это было совсем необычно для нас, и мы вслед за отцами кинулись к заводу. Едва ли не весь город бежал туда, люди высыпали из цехов, грозно гудели людские голоса, безграничное людское море бушевало на площади. Видны были солдатские папахи раненых, вернувшихся с фронта, кое-где мелькали женские платки, но больше всего было рабочих-металлургов. И мне запомнилось ощущение всеобщего подъема, настоящего торжества.

Начался митинг, на котором выступил М. И. Арсеничев, первый руководитель каменных большевиков. Он работал у нас в котельном цехе, рано втянулся в революционную борьбу, печатал и распространял листовки, потом, когда за ним установили слежку, уехал в Петроград, прошел славный путь подполья, не избежал и сибирской ссылки, был среди тех, кто встречал В. И. Ленина на Финляндском вокзале, слышал его знаменитую речь, кончавшуюся призывом: «Да здравствует социалистическая революция!» Впоследствии Арсеничев был в годы гражданской войны расстрелян белыми, и учиться мне довелось в Metallургическом институте имени Михаила Арсеничева.

Тогда на митинге он говорил о великой победе пролетариата, рассказывал о II Всероссийском съезде Советов, объявил о том, что образовано первое в мире рабоче-крестьянское правительство, а во главе его стоит Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Народ пришел в движение, раздались крики: «Ура!» И еще я помню, с каким замиранием сердца, задрал голову, смотрел на красное полотнище, реявшее на фоне осеннего серого неба.

Каждое поколение, хочется добавить, получает в наследство от предшествующих поколений то, что было ими завоевано, добыто, построено, сделано, и идет дальше, продолжает свой путь — уже на новой высоте, на новой ступени исторического развития. Молодым кажется порой, что все главное осталось позади. Позади революция, позади бои гражданской войны, годы социалистического переустройства гигантской страны, позади героика Великой Отечественной войны... Так думают юноши и девушки, но наступает их время, эстафета от дедов и отцов переходит к ним в руки, и тогда выясняется, что и на их долю выпадают немалые испытания и величественные дела.

Меня сегодня согревает мысль, что у поколений революционных борцов, строителей первых пятилеток, воинов Отечественной войны выросла достойная смена. Задачи невыполнимых прежде масштабов мы можем поручать комсомолу, всем молодым людям Советской страны и видим, что им присуще благородное чувство личной ответственности за все происходящее на нашей земле, что во всякое начинание они вносят свой романтический порыв и, я бы сказал, молодую окрыленность. Молодежь растет коммунистически убежденной, глубоко преданной делу партии, делу великого Ленина, верной идеалам Октября.

Вот об этом и думаю я, вспоминая красное знамя революции, реявшее на фоне хмурого осеннего неба. Никогда не уйдет из моей памяти приход Октября в наш рабочий поселок. Знамя поднято было высоко-высоко, на трубу доменной печи номер один.

\* \* \*

Велика была сложность социального бытия в годы моей юности, на сломе эпох. Днепровцам пришлось тогда нелегко: власть Центральной Рады сменили немецкие войска, за ними появился Петлюра, в январе 1919 года его выбила из Каменского конница Красной Армии, но спустя полгода

пришли белые, а там махновцы, григорьевцы. Всякая шушера вылезала на поверхность, витийствовали на собраниях украинские «самостийники», меньшевики, кадеты, эсеры, анархисты. Политическое воспитание мы в те годы проходили весьма наглядное, мужали, как говорится, не по дням, а по часам.

И вот что хотелось бы еще раз подчеркнуть: город наш был рабочий, население в большинстве своем было рабочим, и потому пролетарскую революцию у нас всегда считали своей, партию большевиков — своей, власть Советов — своей! То есть проблемы выбора, самого вопроса, с кем идти, чью сторону держать, у рабочих-днепровцев не было. Мой отец, например, в партии, а точнее, ни в каких партиях не состоял, но с первых лет революции активно поддерживал большевиков, и позже, когда я вступил в комсомол, а затем стал членом Коммунистической партии, отец и мать встретила это как большие в радостные события.

В первые трудные послереволюционные годы, едва только отгремели выстрелы гражданской войны, в литейном цехе нашего завода был отлит из чугуна памятник, можно сказать, уникальный. Он и сегодня стоит на одной из красивейших площадей Днепропетровска. На высокой колонне поднялся легендарный титан Прометей, оковы его сорваны, в руке у него огненный факел, у ног — поверженный орел, веками терзавший его. Символика эта очевидна и в годы моей юности была понятна всем. Мы ведь помнили, как повержен был двуглавый царский орел, а животворящее пламя всегда было в руках металлургов. Они создали гимн из металла тому, кто похитил у богов и навек подарил людям огонь. Это памятник Прометею и одновременно — монумент рабочему классу.

Настал знаменательный день моей жизни. В свои пятнадцать лет я стал рабочим. Гимназия, преобразованная в Первую трудовую школу города Каменского, выдала мне свидетельство об окончании школы. Надо было работать, помогать семье, меня взяли на завод кочегаром, потом перевели в слесари, и я довольно быстро освоил эти профессии. Завод давно был мне знаком, цеховой шум, грохот, запах нагретого металла — все здесь мне было по нраву.

Итак, пришел заветный день, когда заводской гудок прогудел и для меня, вместе с отцом я вышел на смену и трудился, как все. Ныли до ломоты мускулы, пот слепил глаза, но был я по-настоящему счастлив. И потом была радость: вернулся домой, скинул дочерна прокопченную фуфайку, и мать, как, бывало, отцу, сливала студеную воду на мои руки, и я отмывал лицо. Помню, поднял голову и увидел слезы в ее добрых глазах.

— Чего ты, мама?

— От радости, Леня, от радости. Вот и ты уже стал кормильцем.

Мне приходилось однажды об этом говорить, но здесь повторю: я всегда помню своих наставников и старших товарищей, с которыми работал на Днепровском заводе. Они дали мне первую профессию, учили меня сложной науке жизни, показали великую силу и духовную красоту человека труда.

Такие университеты не забываются.